

DOI 10.23859/2587-8344-2020-4-4-10

Игорь Константинович Богомолов

Институт научной информации
по общественным наукам РАН,
Москва, Россия

<https://orcid.org/0000-0001-8381-0284>,
boga_igor@mail.ru

Igor' K. Bogomolov

Institute of Scientific Information
for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

<https://orcid.org/0000-0001-8381-0284>,
boga_igor@mail.ru



1917 год: исторический водораздел?*

Рецензия на: Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide / edited by Matthias Neumann, Andy Willimott. – London, New York: Routledge, 2018. – 267 p.

1917: Historical Divide?

Review of: Matthias Neumann, Andy Willimott (eds.) *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*. London, New York: Routledge, 2018.

Аннотация. В рецензируемой коллективной монографии предпринимается новая попытка переосмыслить российскую революцию как «исторический водораздел» между эпохами в российской и мировой истории. Авторы приходят к выводу, что революционная трансформация России вышла далеко за пределы 1917 года, захватив не только Гражданскую войну, но и первое десятилетие советской власти. Наиболее важные и ценные наблюдения

* Для цитирования: Богомолов И.К. 1917 год: исторический водораздел? *Рецензия на:* Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide / edited by Matthias Neumann, Andy Willimott. – London, New York: Routledge, 2018. – 267 p. // *Historia Provinciae – Журнал региональной истории.* – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 1401–1418. DOI: 10.23859/2587-8344-2020-4-4-10

For citation: Bogomolov, I. “1917: Historical Divide?” *Review of:* Matthias Neumann, Andy Willimott (eds.) *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*. London, New York: Routledge, 2018. *Historia Provinciae – The Journal of Regional History*, vol. 4, no. 4 (2020): 1401–18, <http://doi.org/10.23859/2587-8344-2020-4-4-10>

© Богомолов И.К., 2020

© Bogomolov I., 2020

касаются скрытого и до сих пор недооцененного социокультурного влияния дореволюционной России на, казалось бы, совершенно особый и отличный от нее «советский мир».

Ключевые слова: Великая российская революция, Октябрьская революция, В.И. Ленин, НЭП, советское право, советский цирк, комсомол, восточная женщина.

Abstract. The collective monograph makes a new attempt to rethink the Russian revolution as a ‘historical divide’ between eras in Russian and world history. The authors come to the conclusion that the revolutionary transformation of Russia went far beyond the borders of 1917, capturing not only the Russian Civil War, but also the first decade of Soviet power. The most important and valuable observations relate to the hidden and still underestimated socio-cultural influence of pre-revolutionary Russia on the seemingly completely special ‘Soviet world’.

Key words: The Great Russian Revolution, the October Revolution, Vladimir Lenin, NEP, Soviet law, Soviet circus, Komsomol, Eastern woman

В последние годы проблема хронологических рамок российской революции вновь привлекает внимание историков. Наглядный показатель – названия фундаментальных работ, вышедших к столетию революции в 2016–2018 гг. Марк Стейнберг в понятие «Русская революция» включил и революцию 1905 г., и Первую мировую войну¹. Стивен Смит посчитал, что революционными по своей сути были и годы, предшествовавшие революции 1905 г., и первое десятилетие после прихода большевиков к власти². Джонатан Смит сместил акцент с российской революции на российскую Гражданскую войну, точнее – на «русские» гражданские войны, коих, по мнению исследователя, в 1916–1926 гг. было несколько³. В 2020 г. вышел сборник о «большевицкой революции», которая, по мнению авторов, продолжалась вплоть до начала Великой Отечественной войны⁴. Иными словами, то, что ранее называлось «предпосылками» и «последствиями» революции, ныне все чаще понимается как часть ее *Longue durée* (большой длительности)⁵.

¹ Steinberg M. The Russian Revolution, 1905–1921. – Oxford: Oxford University Press, 2017.

² Smith S.A. Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928. – Oxford: Oxford University Press, 2018.

³ Smele J. The 'Russian' Civil Wars, 1916–1926: Ten Years That Shook the World. – Oxford: Oxford University Press, 2017.

⁴ The Fate of the Bolshevik Revolution: Illiberal Liberation, 1917–1941 // edited by L. Douds, J. Harris, P. Whitewood. – London: Bloomsbury Academic, 2020.

⁵ Palmer B.D., Sangster J. The Distinctive Heritage of 1917: Resuscitating Revolution’s Longue Durée // Socialist Register. – 2016. – Vol. 53. Rethinking Revolution. – P. 22–56.

Авторы рецензируемой коллективной монографии следуют указанным тенденциям и предпринимают попытку переосмыслить 1917 год как исторический рубеж и наивысшую точку революции. Центральное место в монографии занимает проблема взаимосвязи и преемственности политических, социальных и экономических систем, сложившихся до и после революции. Во вступлении редакторы монографии Энди Уиллимот и Маттиас Нойманн отметили, что и сегодня российская революция по-прежнему продолжает восприниматься как резкий и безвозвратный разрыв с прошлым. Между тем, история революций XX века наглядно демонстрирует, что полностью преодолеть культурные концепции, традиции и обычаи, лежавшие в основе дореволюционного общества, не удалось ни в одной стране. В метафорическом смысле революцию авторы понимают как «переворачивание почвы при вспашке», когда «“новое” укореняется в разлагающемся, но все еще удобряющем “старом”»⁶.

Российская революция в этом смысле представляется авторам как хрестоматийный пример огромного влияния революционной риторики на восприятие историками целой эпохи. Утверждение большевиков, что они начинают историю человечества «с чистого листа», без оглядки на прошлое, до сих пор принимается на веру, зачастую – без должной доли критики и без учета более широкого контекста. Непропорционально большое внимание к событиям именно 1917 года не позволяло до сих пор увидеть весь спектр факторов успеха большевиков, да и сам 1917 год «является неправильной отправной точкой для полного анализа социального, культурного, политического и экономического развития большевистского проекта и советского социализма»⁷. Вместе с тем, не следует абсолютизировать опыт прошлого и этим принижать значимость государственных проектов, возникших из огня революции, так как старое и новое «часто пересекаются, вместе влияя на формирование мира вокруг нас»⁸. Стремясь уйти от «бинарных концепций и укоренившихся интерпретационных рамок»⁹, авторы коллективной монографии пытаются показать российскую революцию не как событие, а как длительный и сложный процесс трансформации российского общества и всего мира в начале XX века.

Монография состоит из девяти глав, повествующих об идеологических, политических и культурных основаниях советского государственного строя. Авторы объединились с общей целью – понять, какие глубинные процессы в дореволюционной России легли в основу большевизма и сделали возможным

⁶ *Willimott A., Neumann M. Crossing the divide: tradition, rupture, and modernity in revolutionary Russia // Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. – London, New York: Routledge, 2018. – P. 2.*

⁷ *Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P. 2.*

⁸ *Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P. 10.*

⁹ *Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P. 17.*

приход большевиков к власти. Главы монографии были разделены на две части: «Новое государство, прошлое и народ» (“The new state, the past, and the people”) (главы 1–4) и «Народ, прошлое и новое государство» (“The people, the past, and the new state”) (главы 5–9). Несмотря на почти одинаковые названия, обе части фокусируются на разных сюжетах революционного процесса. В первой части речь идет о том, как большевики пытались изменить политические, социальные и культурные практики в революционной России и насколько результат оказался далек от задуманного. Во второй части акцент смещен на людей, в ней говорится о том, как «отдельные лица, социальные и профессиональные группы сталкивались и взаимодействовали с формирующимся советским государством»¹⁰.

В первой главе Арч Гетти¹¹ задается вопросами почему, в какой форме и как долго русская дореволюционная политическая культура существовала после революции 1917 г. По мнению автора, важные элементы политической культуры пережили революционные потрясения, обретая новые формы и другие названия. События 1917 года окончательно уничтожили «легитимность правления благородной знати в тандеме с монархией, обладающей божественным правом»¹². Однако отмена формальных прав одних сопровождалась фактической передачей их другим – тем, кто пришел к власти. Объявление равенства прав и свобод не отменило появления новой олигархии, нового «дворянства» уже в первые годы после большевистской революции. Ярким примером Гетти считает социальный статус «старых большевиков», которые после революции быстро превратились в замкнутую и могущественную касту. Террор 1937–1938 гг. автор рассматривает прежде всего как борьбу Сталина с привилегиями и исключительным положением этой «новой знати». В самом появлении ее Гетти не видит ничего необычного. Было бы удивительно, если бы большевики (и русские в целом) «внезапно изменились, полностью отказавшись от своей тысячелетней политической культуры»¹³. Еще одним примером неразорванной связи с прошлым автор считает дискуссии в большевистском руководстве по вопросу о судьбе тела Ленина в 1924 г. Утверждая, что в России «тело» монарха всегда символизировало государство, Гетти настаивает, что бальзамирование и «увечковечивание» тела Ленина было необходимо для легитимации режима в массовом сознании. Большевики неосознанно следовали политической традиции, которая «нашептывала им, а они что-то слышали, но не понимали, что именно»¹⁴.

¹⁰ *Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P. 18.*

¹¹ *Getty A.J. The problem of persistence // Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. – P. 23–45.*

¹² *Getty A.J. The problem of persistence. – P. 28.*

¹³ *Getty A.J. The problem of persistence. – P. 42.*

¹⁴ *Getty A.J. The problem of persistence. – P. 34.*

Мэттью Рендл¹⁵ во второй главе исследует преемственность в правовой культуре и практике раннесоветского периода. Автор ставит вопрос о том, действительно ли судебная система, введенная большевиками в ноябре 1917 года, была революционной. С одной стороны, стремление большевиков демонтировать царскую судебную систему привело к значительным изменениям в судебных кодексах и в правоприменительной практике. С другой стороны, новые кодексы имели заметное сходство с дореволюционными. Так, уголовный кодекс содержал отсылки к «царским» кодексам 1903, 1845 и даже 1832 гг.¹⁶ Это сходство не было случайным: вскоре после прихода к власти большевики осознали, что новая правовая система все равно будет направлена на достижение «старых» целей – укрепление государственного контроля и социального порядка. В этом смысле революционное правосудие «не преуспело в революционизировании правовой культуры России»¹⁷. Первоначальная цель – установление революционного правосознания – очень скоро сменилась стремлением укрепить контроль государства над судебной системой¹⁸.

В третьей главе Мириам Нейрик¹⁹ анализирует развитие русского и советского цирка в революционную эпоху. На первый взгляд, отмечает автор, история русского цирка в годы революции резко разделилась на «до» и «после». В августе 1919 г. В.И. Ленин подписал декрет «Об объединении театрального дела», в соответствии с которым все частные цирки были национализированы и подчинены Центральному управлению государственными цирками. Цирковые программы отныне контролировались и включали в себя новые идеологически выверенные сюжеты. Однако эта «политизация цирка» продолжалась недолго. Уже в 1920 г. руководство цирков начало «вычищать большую часть нового, явно революционного содержания из циркового репертуара»²⁰. Этот процесс ускорился с наступлением НЭПа. Частичная отмена государственных субсидий культурным учреждениям подталкивала цирки активнее завлекать зрителя, что было возможно только при условии возвращения цирку его «узнаваемого, дореволюционного вида»²¹. Нейрик отмечает политическую неоднозначность и даже рискованность цирковых программ, создававших для советского зрителя особое пространство, не подчиненное жестким догматическим рамкам. Это позволило цирку избежать обвинений в «буржуазности» и в то же время – уйти от

¹⁵ Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? Legal culture in Russia across the revolutionary divide // *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*. – P. 46–66.

¹⁶ Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? – P. 56.

¹⁷ Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? – P. 66.

¹⁸ Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? – P. 65.

¹⁹ Neirick M. 'Taking a leap across the tsarist throne': revolutionizing the Russian circus // *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*. – P. 67–91.

²⁰ Neirick M. 'Taking a leap across the tsarist throne'. – P. 69.

²¹ Neirick M. 'Taking a leap across the tsarist throne'. – P. 69.

излишней административной и идеологической опеки. К началу сталинского «великого перелома» эта особенность советского цирка стала только ценнее для власти, стремившейся всеми путями донести до советских граждан, что «жизнь стала лучше, жизнь стала веселее»²².

В четвертой главе Маттиас Нойманн²³ фокусирует внимание на развитии молодежных организаций и комсомола в первое десятилетие советской власти. Молодежные организации автор считает ярким примером скрытой взаимосвязи эпох до и после революции. Автор утверждает, что 1917 год, конечно, был переломным в истории России, но настаивает, что это «не должно позволять нам упускать из виду тот факт, что многие дореволюционные ассоциации и общества продолжали свою работу при новом режиме»²⁴. Более того, новые организации «нашли своих наиболее активных членов среди людей, которые занимались гражданской и общественной деятельностью до революции»²⁵. Для многих из них их личные, институциональные и культурные связи «лежали в дореволюционном периоде и в хаосе самого 1917 года»²⁶. Комсомол в этом смысле не был полностью детищем большевистского режима, но стал одним из его главных символов. Особое положение комсомола обуславливалось неопределенностью границ его компетенции, неопределенным уровнем его самостоятельности и влияния на общественно-политическую жизнь в СССР. В 1920-е годы комсомол превратился в массовую организацию и без особого успеха «пытался найти свою идентичность»²⁷. С другой стороны, комсомол очень четко отражал новые социальные, экономические и политические тенденции. Отсутствие коммуникаций и контроля центра над периферией, организационная свобода на местах, покровительство и бюрократизация в верхних эшелонах – все эти явления можно было увидеть и в комсомоле. В это время происходили «различные процессы отчуждения – между городскими и сельскими комсомольскими организациями, между рядовыми членами и руководством, между комсомолом и партией, между комсомольцами и неорганизованной молодежью, между комсомолом и широкими слоями населения»²⁸. Будучи в теории общественной организацией, комсомол на практике часто брал на себя партийные и государственные функции, так и оставшись до конца советской эпохи своеобразной «подменой партии»²⁹.

²² *Neirick M.* 'Taking a leap across the tsarist throne'. – P. 91.

²³ *Neumann M.* The Communist youth league and the construction of Soviet *obshchestvennost'* // Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. – P. 92–120.

²⁴ *Neumann M.* The Communist youth league. – P. 95.

²⁵ *Neumann M.* The Communist youth league. – P. 95.

²⁶ *Neumann M.* The Communist youth league. – P. 96.

²⁷ *Neumann M.* The Communist youth league. – P. 116.

²⁸ *Neumann M.* The Communist youth league. – P. 116.

²⁹ *Neumann M.* The Communist youth league. – P. 106.

В пятой главе Мэттью Поли³⁰ исследует, как украинские учителя представляли себе будущее украинского образования и как эти представления соотносились с образовательной политикой большевиков. В решении этого вопроса также создается иллюзия принципиального противостояния: выступающие за свободу и независимость своей родины учителя-украинцы обычно называются в историографии противниками советского варианта Украины. Однако спектр мнений среди украинских учителей был шире, их отношение к большевистским реформам – сложнее. Поли приводит показательный пример – мемуары украинской учительницы Софии Федоровны Русовой (Линдфорс). Русова придерживалась антибольшевистских взглядов и покинула Украину после установления там советской власти. Тем не менее, отмечает Поли, ее взгляды и планы по «украинизации» образования «не вызывали бы серьезных возражений в советской Украине»³¹. Многие из того, за что еще задолго до 1917 г. выступала Русова, было реализовано в УССР большевиками: всеобщее обучение украинскому языку, использование его в нормативных документах. В этом автор главы видит основание для «нового определения Октября» на национальных окраинах как некоего симбиоза националистического и большевистского начал в 1917 году»³².

Шестая глава посвящена положению «восточной женщины» Волжско-Уральского региона в революционную эпоху. Автор, Юлия Градскова³³, рассматривает различные проекты «улучшения положения нерусских женщин как до, так и после большевистской революции»³⁴. Формально революция 1917 г. разрушила старые препоны на пути к всеобщему равенству прав и свобод. В первые годы существования своей власти большевики уделяли «женскому вопросу» значительное внимание, выступая за просвещение и всестороннее развитие женщин. Ранняя большевистская политика гендерной и национальной эмансипации была, по сути, смесью «пролетарских лозунгов и старых имперских идей, касающихся необходимости цивилизовать и просвещать нехристианские народы, сохранившие традиционные занятия, иерархию и верования»³⁵. Под давлением центральных властей на национальных окраинах возникали новые институты и формы деятельности: смешанные школы для мальчиков и девочек, избы-читальни, детские сады, вечерние школы для взрослых. Многие из

³⁰ *Pauly M.D.* For the people: the image of Ukrainian teachers as public servants // *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*. – P. 123–149.

³¹ *Pauly M.D.* For the people. – P. 148.

³² *Pauly M.D.* For the people. – P. 149.

³³ *Gradskova Yu.* ‘The woman of the Orient is not the voiceless slave anymore’ – the non-Russian women of Volga-Ural region and ‘women’s question’ // *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*. – P. 150–170.

³⁴ *Gradskova Yu.* ‘The woman of the Orient is not the voiceless slave anymore’. – P. 150.

³⁵ *Gradskova Yu.* ‘The woman of the Orient is not the voiceless slave anymore’. – P. 170.

этого начала насаждать еще царская власть, поэтому реформы большевиков не были новаторскими, отличаясь только размахом и идеологическим обрамлением. Автор отмечает, что большевистские проекты часто не были подкреплены финансовыми и организационными ресурсами, наталкивались на сопротивление местных жителей, в том числе и самих женщин. Пример Волжско-Уральского региона показывает, что ранний период советской эмансипации женщин Востока не был особенно эффективным и «опирался на дореволюционные навыки и методы»³⁶. Репрессии середины 1930-х годов помимо прочего «положили конец прежним попыткам сохранить “национальную” и “антиколониальную” повестку дня наряду с решением “женского вопроса” в регионе»³⁷.

В седьмой главе Сьюзан Грант³⁸ обращает внимание на социальное положение и образ медсестры в русском и советском общественном сознании. После Крымской войны 1853–1856 гг. работа сестры милосердия пользовалась большим уважением. Образ сестры милосердия культивировался во многом благодаря частым войнам, большое значение имел и менявшийся характер войн. С каждой войной все выше были потери, сложнее и тяжелее становились наносимые увечья, что делало работу медсестер тяжелой и крайне ответственной. Первая мировая война сыграла в этом отношении двойственную роль: значительно возросшее значение сестер милосердия сопровождалось многочисленными слухами об их развратном поведении на фронте. Грант отмечает, что после революции образ сестры милосердия был дискредитирован и «стал ассоциироваться с буржуазным прошлым»³⁹. Однако потребность в медсестрах никуда не делась, они нужны были растущей армии, готовившейся к войне с «враждебным окружением». Ценности, дисциплина и навыки, приобретенные в сообществах сестер милосердия до революции, «пережили большевистский экспериментализм 1920-х гг.»⁴⁰.

Восьмая глава посвящена личному опыту «переживания революции» российскими историками. Вера Каплан⁴¹ делает акцент не на личном опыте известных историков, а на жизни российского исторического сообщества в целом. Создавая новые институты и участвуя в новых общественных и правительственных органах, историкам как сообществу «удалось использовать эти новые структуры для продвижения и реализации тех идей и проектов, которые были определены наиболее важными в их профессиональных дискуссиях в дорево-

³⁶ *Gradszkova Yu.* ‘The woman of the Orient is not the voiceless slave anymore’. – P. 170.

³⁷ *Gradszkova Yu.* ‘The woman of the Orient is not the voiceless slave anymore’. – P. 170.

³⁸ *Grant S.* Devotion and revolution: nursing values // *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide.* – P. 171–185.

³⁹ *Grant S.* Devotion and revolution: nursing values. – P. 185.

⁴⁰ *Grant S.* Devotion and revolution: nursing values. – P. 185.

⁴¹ *Kaplan V.* What did historians do at the time of the great revolution? // *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide.* – P. 186–214.

люционные годы»⁴². Более того, интегрируясь в новые академические институты, историки сохраняли и даже расширяли свои личные и профессиональные связи, включая в эту сферу «тех деятелей нового режима, которые были одновременно влиятельными и приемлемыми с точки зрения системы ценностей общества»⁴³. Хотя эта политика позволяла историкам сотрудничать с советским правительством и влиять на советскую архивную и академическую систему изнутри, в долгосрочной перспективе она привела к «постоянной эрозии автономии исторического сообщества и его растущей этатизации: историки были вынуждены стать своего рода винтиками в советском аппарате»⁴⁴.

В девятой главе Джонатан Уотерлоу⁴⁵ акцентирует внимание на народном юморе в 1930-е гг. Эта тема, по мнению автора, открывает новые стороны общественных настроений, реакции рядовых советских граждан на те или иные события. Своеобразные формы выражения (анекдот, частушка, байка) – то, что Уотерлоу называет «говорить не по-большевистски», – позволяли выйти за рамки официального советского дискурса. Анекдоты и байки стали своеобразными «инструментами» освобождения слова, знакомыми обычным гражданам еще по царским временам. Уотерлоу оспаривает устоявшееся мнение, что советские граждане оказались в ловушке официальных советских дискурсов, а потому не могли избежать «большевистского языка». Многие из них научились «говорить по-большевистски», но это не означало, что они забыли более старые «языки»⁴⁶.

Книга завершается эпилогом Питера Уолдрона⁴⁷. В очерке 200-летней истории России Уолдрон исследует понятие «русская традиция» и подчеркивает важность учета глубоко укоренившихся социально-экономических структур, в которых были приняты и воплощены в жизнь идеи не только большевиков, но и их предшественников.

Рецензируемая коллективная монография представляет большой интерес для исследователей не только российской революции, но и всей истории России в XX веке. На основе самых разных сюжетов авторы монографии показывают, как глубинные социально-экономические процессы в дореволюционной России влияли на большевиков и их политику в первое десятилетие советской власти. Отметим, что в череде затронутых сюжетов явно не хватало экономики. Между тем, экономическая политика большевиков тоже не была их изобретением,

⁴² Kaplan V. What did historians do at the time of the great revolution? – P. 214.

⁴³ Kaplan V. What did historians do at the time of the great revolution? – P. 214.

⁴⁴ Kaplan V. What did historians do at the time of the great revolution? – P. 214.

⁴⁵ Waterlow J. Speaking more than Bolshevik: humour, subjectivity, and crosshatching in Stalin's 1930s // Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. – P. 215–236.

⁴⁶ Waterlow J. Speaking more than Bolshevik. – P. 236.

⁴⁷ Waldron P. Epilogue: the Russian tradition? Discourses of tradition and modernity // Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. – P. 237–252.

многие меры (продразверстка, национализация, нормирование потребления) еще до революции практиковались царским правительством. Однако этот недостаток вполне окупается новыми, ранее не поднимавшимися в историографии сюжетами, новыми источниками и интерпретациями революционной эпохи в России.



In recent years, the problem of the chronological framework of the Russian Revolution has attracted the attention of historians again. A vivid indicator of that can be found in the titles of fundamental works published in 2016–18 on the occasion of the centenary of the Revolution. Mark Steinberg included both the Revolution of 1905 and the First World War in the concept of the Russian Revolution.¹ Stephen Smith considered both the years preceding the 1905 Revolution and the first decade after the Bolsheviks came to power revolutionary in essence.² Jonathan Smele shifted the focus from the Russian Revolution to the Russian Civil War or, more precisely, to the Russian civil wars; in the opinion of the researcher, there were several of them in 1916–26.³ In 2020, a collection of articles about the Bolshevik Revolution was published and according to its authors, the revolution continued until the beginning of the Great Patriotic War.⁴ In other words, what was earlier referred to as the prerequisites and the consequences of the revolution is now increasingly understood as a part of its *longue durée*.⁵

The authors of the collective monograph under review follow the abovementioned trends and attempt to rethink the year of 1917 as a historical milestone and the highest point of the revolution. The central place in the monograph is taken by the problem of interconnection and continuity of political, social, and

¹ M. Steinberg, *The Russian Revolution, 1905–1921* (Oxford: Oxford University Press, 2017).

² S.A. Smith, *Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

³ J. Smele, *The 'Russian' Civil Wars, 1916–1926: Ten Years That Shook the World* (Oxford: Oxford University Press, 2017).

⁴ L. Douds, J. Harris, and P. Whitewood, eds., *The Fate of the Bolshevik Revolution: Illiberal Liberation, 1917–1941* (London: Bloomsbury Academic, 2020).

⁵ B.D. Palmer and J. Sangster, “The Distinctive Heritage of 1917: Resuscitating Revolution’s Longue Durée,” *Socialist Register*, vol. 53, *Rethinking Revolution* (2016): 22–56.

economic systems which formed before and after the revolution. In the introduction, the editors of the monograph Andy Willimott and Matthias Neumann note that today the Russian Revolution is still perceived as an abrupt and irrevocable break with the past. Meanwhile, the history of the revolutions in the twentieth century clearly demonstrates that hardly any country has succeeded in completely overcoming the cultural conceptions, traditions, and customs that underpinned the pre-revolutionary society. In a metaphorical sense, the authors understand the revolution as “the upturning the soil during ploughing – a world being turned upside-down, with the ‘new’ establishing its roots in the decomposing, but still fertilising, ‘old’.”⁶

The Russian Revolution in this sense is viewed by the authors as a textbook example of the huge influence which the revolutionary rhetoric exerted on the perception of the entire era by the historians. The assertion of the Bolsheviks that they were starting the history of mankind from scratch, without looking back at the past, is still taken on faith, often without a proper share of criticism and without taking into account the broader context. The disproportionate attention to the events of 1917 did not make it possible to see the whole range of the factors of the Bolsheviks’ success, and 1917 itself “is the wrong departure point for a full analysis of the social, cultural, political, and economic development of the Bolshevik project and Soviet socialism.”⁷ At the same time, one should not absolutize the experience of the past and thus belittle the significance of the state projects which emerged from the fire of the Revolution, since the old and the new “often intersect, together forming and effecting the formation of the world around us.”⁸ In an effort to “eschew binary conceptions and entrenched interpretive frameworks,”⁹ the authors of the collective monograph make an attempt to present the Russian Revolution not as an event but as a long and complex process of transformation in Russian society and the whole world at the beginning of the 20th century.

The monograph consists of nine chapters dealing with the ideological, political and cultural foundations of the Soviet state system. The authors united in order to pursue a common goal which is to understand what deep processes in pre-revolutionary Russia formed the basis of Bolshevism and made it possible for the Bolsheviks to come to power. The chapters of the monograph were divided into two parts: “The New State, the Past, and the People” (chapters 1–4) and “The People, the Past and the New State” (chapters 5–9). Despite nearly identical titles, both parts focus on different storylines of the revolutionary process. The first part deals with

⁶ A. Willimott and M. Neumann, “Crossing the Divide: Tradition, Rupture, and Modernity in Revolutionary Russia,” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide* (London, New York: Routledge, 2018), 2.

⁷ Willimott and Neumann, “Crossing the Divide,” 2.

⁸ Willimott and Neumann, “Crossing the Divide,” 10.

⁹ Willimott and Neumann, “Crossing the Divide,” 17.

how the Bolsheviks tried to change political, social, and cultural practices in revolutionary Russia and how far the result was from what had been intended. With the emphasis shifted to people, the second part dwells upon how “individuals, social groups, and professional groups encountered and engaged with the newly emerging Soviet state.”¹⁰

In the first chapter, Arch Getty¹¹ puts forth the questions why, in what form, and how long Russian pre-revolutionary political culture existed after the 1917 Revolution. According to the author, some important elements of political culture survived revolutionary upheavals, taking on new forms and other names. The events of 1917 destroyed “the legitimacy of rule by blooded nobility in tandem with divine right monarchy.”¹² However, the abolition of formal rights of some groups was accompanied by their actual transfer to the other group, to those who came to power. The declaration of equality of rights and freedoms did not prevent the emergence of the new oligarchy, the new nobility, in the first years after the Bolshevik Revolution. Social status of the old Bolsheviks, who quickly turned into a closed and powerful caste after the revolution, is considered by Getty as a striking example of that. The terror of 1937–38 is viewed by the author primarily as Stalin’s struggle against the privileges and exclusive position of this new nobility. Getty sees nothing unusual in its emergence. It would be surprising if the Bolsheviks (and Russians in general) “suddenly transformed themselves completely stepping out of their thousand-year-old culture.”¹³ The author considers the discussions among the Bolshevik leadership about the fate of Lenin’s body in 1924 as another example of the unbroken ties with the past. Arguing that in Russia the body of a monarch always symbolizes the state, Getty insists that embalming and perpetuating Lenin’s body was necessary to legitimize the regime in the mass consciousness. The Bolsheviks unconsciously followed the political tradition which “whispered to them; they heard something, but weren’t sure what it was.”¹⁴

In the second chapter, Matthew Rendle¹⁵ examines the continuity in the legal culture and practices of the early Soviet period. The author raises the question of whether the judicial system introduced by the Bolsheviks in November 1917 was really revolutionary. On the one hand, the desire of the Bolsheviks to dismantle the tsarist judicial system led to significant changes in judicial codes and in law enforcement practice. On the other hand, the new codes bore noticeable similarities

¹⁰ Willimott and Neumann, “Crossing the Divide,” 18.

¹¹ A.J. Getty, “The Problem of Persistence,” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 23–45.

¹² Getty, “The Problem of Persistence,” 28.

¹³ Getty, “The Problem of Persistence,” 42.

¹⁴ Getty, “The Problem of Persistence,” 34.

¹⁵ M. Rendle, “How Revolutionary Was Revolutionary Justice? Legal Culture in Russia across the Revolutionary Divide,” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 46–66.

with the pre-revolutionary ones. Thus, the criminal code contained references to the tsarist codes of 1903, 1845, and even 1832.¹⁶ This similarity was not accidental: soon after coming to power, the Bolsheviks realized that the new legal system would still be aimed at achieving the old goals of strengthening state control and social order. “In this sense, revolutionary justice did not succeed in revolutionizing Russia’s legal culture.”¹⁷ The initial goal, the establishment of revolutionary legal consciousness, very soon was replaced by the desire to strengthen state control over the judicial system.¹⁸

In the third chapter, Miriam Neirick¹⁹ analyzes the development of the Russian and Soviet circus in the revolutionary era. As the author points out, at first glance, the history of the Russian circus during the years of the revolution was sharply divided into Before and After. In August 1919, V. Lenin signed a “Decree on the Unification of the Theatrical Concern” according to which all private circuses were nationalized and subordinated to the Central Management of State Circuses. The repertoire of circuses was now controlled and included new ideologically verified stories. However, this politicization of the circus did not last long. In 1920, “circus producers began to purge much of the new, explicitly revolutionary content from the circus repertoire.”²⁰ This process accelerated with the introduction of the New Economic Policy (NEP). The partial elimination of state subsidies to cultural enterprises made circuses become more active in attracting the audience, which was only possible if the circus was restored to its “recognizably pre-revolutionary form.”²¹ Neirick points out political ambiguity and even the riskiness of some circus programs, which provided the Soviet audience with special space, independent of the rigid dogmatic framework. This allowed the circus to avoid accusations of being bourgeois and at the same time to escape excessive administrative and ideological tutelage. By the beginning of Stalin’s Great Turning Point, this feature of the Soviet circus had become even more valuable for the authorities who sought to make it clear for Soviet citizens by all possible means that life had become “better . . . more joyous.”²²

¹⁶ Rendle, “How Revolutionary Was Revolutionary Justice?” 56.

¹⁷ Rendle, “How Revolutionary Was Revolutionary Justice?” 66.

¹⁸ Rendle, “How Revolutionary Was Revolutionary Justice?” 65.

¹⁹ M. Neirick, “‘Taking a Leap across the Tsarist Throne’: Revolutionizing the Russian Circus,” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 67–91.

²⁰ Neirick, “‘Taking a Leap across the Tsarist Throne’: Revolutionizing the Russian Circus,” 69.

²¹ Neirick, “‘Taking a Leap across the Tsarist Throne’: Revolutionizing the Russian Circus,” 69.

²² Neirick, “‘Taking a Leap across the Tsarist Throne’: Revolutionizing the Russian Circus,” 91.

In the fourth chapter, Matthias Neumann²³ focuses on the development of youth organizations and the Komsomol in the first decade of the Soviet rule. The author considers youth organizations to be a vivid example of the hidden interconnection of the eras before and after the revolution. The author argues that the year 1917 was of course a watershed in Russian history but insists that this “should not permit us to overlook the fact that many pre-revolutionary associations and societies continued their work under the new regime.”²⁴ Moreover, the new organizations “found many of their most active members amongst people who had engaged in civil and civic activity before the revolution.”²⁵ For many of them, their “personal, institutional and cultural links lay in the pre-revolutionary period and in the turmoil of 1917 itself.”²⁶ In this sense, the Komsomol was not entirely the brainchild of the Bolshevik regime but became one of its main symbols. Special position of the Komsomol was preconditioned by the uncertainty of the boundaries of its competence, the uncertain level of its independence and influence on social and political life in the USSR. In the 1920s, the Komsomol grew into a mass organization and “struggled to find its identity”²⁷ without much success. On the other hand, the Komsomol very clearly reflected the new social, economic, and political trends. Lack of communications and control of the center over the periphery, organizational freedom at the local level, clientilism and bureaucratization in the upper echelons, all those phenomena could be observed in the Komsomol. Various alienation processes occurred at that time “between the urban and the rural Komsomol, between the rank and file and the leadership, between the Komsomol and the party, between komsomol'tsy and non-organized youth, and between the Komsomol and the wider population.”²⁸ Being a public organization in theory, in practice the Komsomol often assumed the functions of the party and the state, and until the end of the Soviet era it remained a kind of a party substitute.²⁹

In the fifth chapter, Matthew Pauly³⁰ explores the ways how Ukrainian teachers envisioned the future of Ukrainian education and how those views correlated with the educational policies of the Bolsheviks. In resolving this issue, the illusion of fundamental confrontation is also created: in historiography, the Ukrainian teachers who advocated the freedom and independence of their homeland are usually referred

²³ M. Neumann, “The Communist Youth League and the Construction of Soviet *Obshchestvennost'*,” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 92–120.

²⁴ Neumann, “The Communist Youth League,” 95.

²⁵ Neumann, “The Communist Youth League,” 95.

²⁶ Neumann, “The Communist Youth League,” 96.

²⁷ Neumann, “The Communist Youth League,” 116.

²⁸ Neumann, “The Communist Youth League,” 116.

²⁹ Neumann, “The Communist Youth League,” 106.

³⁰ M.D. Pauly, “For the People: the Image of Ukrainian Teachers as Public Servants,” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 123–49.

to as the opponents of the Soviet version of Ukraine. However, the range of opinions among Ukrainian teachers was wider and their attitude to the Bolshevik reforms was more complex. Pauly gives an illustrative example, the memoir of Sofiya F. Rusova (Lindfors), a Ukrainian teacher. Rusova adhered to anti-Bolshevik views and left Ukraine after the establishment of the Soviet regime there. Nevertheless, as Pauly notes, her views and plans to Ukrainize education “would not have found great objection in Soviet Ukraine.”³¹ Much of what Rusova advocated long before 1917 was implemented in the Ukrainian SSR by the Bolsheviks: teaching the Ukrainian language universally and using it in regulatory documents. In this, the author of the chapter sees the basis for the newly redefined October on the national outskirts as a “merger of the nationalist and Bolshevik 1917s.”³²

The sixth chapter is devoted to the position of the woman of the Orient in the Volga-Ural region in the revolutionary era. The author, Yulia Gradskova,³³ examines different projects “designed to improve the situation of non-Russian women, both before and after the Bolshevik revolution of 1917.”³⁴ Formally, the 1917 Revolution destroyed old obstacles on the way to universal equality of rights and freedoms. In the first years of their regime, the Bolsheviks paid considerable attention to the women’s question, advocating education and all-round development of women. The early Bolshevik policies of gender and national emancipation were, in fact, a mixture of “proletarian slogans and old imperial ideas relating to the need to civilize and educate non-Christian people, who, theretofore, had preserved traditional occupations, hierarchies, and beliefs.”³⁵ Under pressure from the central authorities, new institutions and forms of activity arose on the borderlands: mixed schools for boys and girls, reading rooms, kindergartens, evening schools for adults. The tsarist government had begun to implant many of these things, so the reforms of the Bolsheviks were not innovative, differing only in scope and ideological framework. The author notes that the Bolshevik projects often lacked enough financial and organizational resources and encountered resistance from local residents, including women. The example of the Volga-Ural region shows that the early period of the Soviet emancipation of women in the East was not particularly effective and “relied

³¹ Pauly, “For the People,” 148.

³² Pauly, “For the People,” 149.

³³ Yu. Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question,’” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 150–70.

³⁴ Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question,’” 150.

³⁵ Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question,’” 170.

on pre-revolutionary skills and methods.”³⁶ The repression of the mid-1930s, among other things, “marked the end of earlier attempts to preserve the ‘national’ and ‘anti-colonial’ agenda alongside the solution of the ‘women’s question’ in the region.”³⁷

In the seventh chapter, Susan Grant³⁸ draws attention to the social position and the image of a nurse in Russian and Soviet public consciousness. After the Crimean War of 1853–56, the job of a nurse was highly respected. The image of a sister of mercy was cultivated largely due to frequent wars, and the changing nature of wars was also of great importance. With each war, casualties grew and the injuries inflicted became worse, which made nursing difficult and extremely responsible. In this respect, the First World War played a dual role: the significantly increased importance of the sisters of mercy was accompanied by numerous rumours about their lecherous behavior at the front. Grant notes that after the revolution, the image of a sister of mercy was discredited and “became associated with the bourgeois past.”³⁹ However, the need for nurses did not disappear as the growing army preparing for war against the hostile environment needed them. The values, discipline and skills acquired in the pre-revolutionary sister of mercy communities “outlasted the Bolshevik experimentalism of the 1920s.”⁴⁰

The eighth chapter is devoted to the personal experience of living through the revolution by Russian historians. The author, Vera Kaplan,⁴¹ focuses on the life of Russian historical community as a whole rather than on the personal experience of famous historians. By establishing new institutions and participating in new public and government bodies, “historians as a community managed to use these new structures for advancing and realizing those ideas and projects that had been defined as the most important in their professional discussions in the pre-revolutionary years.”⁴² Moreover, while integrating into new academic institutions, “historians maintained and even expanded their personal and professional connections by including in these networks those figures of the new regime who were both powerful and acceptable from the perspective of the community’s value system.”⁴³ Although this policy made it possible for historians “to cooperate with the Soviet government

³⁶ Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question’,” 170.

³⁷ Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question’,” 170.

³⁸ S. Grant, “Devotion and Revolution: Nursing Values,” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide* (London, New York: Routledge, 2018), 171–85.

³⁹ Grant, “Devotion and Revolution,” 185.

⁴⁰ Grant, “Devotion and Revolution,” 185.

⁴¹ V. Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?” in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 186–214.

⁴² Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?”, 214.

⁴³ Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?”, 214.

and enabled them to influence the Soviet archival and academic system from inside, in the long term it led to the steady erosion of the historical community's autonomy and its increasing etatization: historians were enforced to become a kind of cog in the Soviet apparatus."⁴⁴

In the ninth chapter, Jonathan Waterlow⁴⁵ focuses on folk humour in the 1930s. According to the author, this topic opens up new sides of public attitudes and the response of ordinary Soviet citizens to certain events. Specific forms of expression (anecdote, *chastushka*, fable), which Waterlow calls speaking non-Bolshevik, allowed going beyond the official Soviet discourse. Anecdotes and stories became a kind of tools for liberating the word, which ordinary citizens were familiar with in the tsarist times. Waterlow disputes the conventional opinion that Soviet citizens were trapped in the official Soviet discourses and therefore could not escape the Bolshevik language. "Many learnt to 'speak Bolshevik' – just as we all take on some of the culturally-sanctioned language and values of the times – but this neither meant they forgot older 'languages' . . ."⁴⁶

The book ends with the epilogue by Peter Waldron.⁴⁷ In the essay on 200 years of Russian history, Waldron explores the concept of Russian tradition and stresses the importance of taking into account the deeply rooted socio-economic structures which accepted and implemented not only the ideas of the Bolsheviks but also of their predecessors.

The reviewed collective monograph is of great interest both to researchers of the Russian Revolution and of the entire history of Russia in the 20th century. Based on a variety of storylines, the authors of the monograph show in what ways deep socio-economic processes in pre-revolutionary Russia influenced the Bolsheviks and their policies in the first decade of the Soviet rule. It should be pointed out that among the subjects considered economic issues are missing. Meanwhile, economic policy of the Bolsheviks was not their own invention either; many measures (food appropriation, nationalization, rationing of consumption) had been practiced by the tsarist government even before the revolution. However, this shortcoming is fully compensated for by the new subjects that have not been considered in historiography, new sources, and interpretations of the revolutionary era in Russia.

⁴⁴ Kaplan, "What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?", 214.

⁴⁵ J. Waterlow, "Speaking More Than Bolshevik: Humour, Subjectivity, and Crosshatching in Stalin's 1930s," in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 215–36.

⁴⁶ Waterlow, "Speaking More Than Bolshevik," 236.

⁴⁷ P. Waldron, "Epilogue: The Russian Tradition? Discourses of Tradition and Modernity," in *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, 237–52.

Список литературы

Palmer B.D., Sangster J. The Distinctive Heritage of 1917: Resuscitating Revolution's Longue Durée // *Socialist Register*. – 2016. – Vol. 53. Rethinking Revolution. – P. 22–56.

Smele J. The 'Russian' Civil Wars, 1916–1926: Ten Years That Shook the World. – Oxford: Oxford University Press, 2017. – 423 p.

Smith S.A. Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – 448 p.

Steinberg M. The Russian Revolution, 1905–1921. – Oxford: Oxford University Press, 2017. – 400 p.

The Fate of the Bolshevik Revolution: Illiberal Liberation, 1917–1941 / edited by L. Douds, J. Harris, P. Whitewood. – London: Bloomsbury Academic, 2020. – 336 p.

References

Douds, L., J. Harris, and P. Whitewood, eds. *The Fate of the Bolshevik Revolution: Illiberal Liberation, 1917–1941*. London: Bloomsbury Academic, 2020.

Palmer, B.D., and J. Sangster. “The Distinctive Heritage of 1917: Resuscitating Revolution's Longue Durée.” *Socialist Register*, vol. 53. “Rethinking Revolution” (2016): 22–56.

Smele, J. *The 'Russian' Civil Wars, 1916–1926: Ten Years That Shook the World*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Smith, S.A. *Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Steinberg, M. *The Russian Revolution, 1905–1921*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Игорь Константинович Богомолов

Кандидат исторических наук,
Научный сотрудник
Института научной информации
по общественным наукам РАН,
Москва, Россия
<https://orcid.org/0000-0001-8381-0284>,
boga_igor@mail.ru

Igor' K. Bogomolov

Candidate of Historical Sciences,
Research fellow,
Institute of Scientific Information
for Social Sciences of the Russian Academy
of Sciences
Moscow, Russia
<https://orcid.org/0000-0001-8381-0284>,
boga_igor@mail.ru